

Тимофей Шерудило

ВРЕМЯ СУМЕРЕК II

2023

18+

Тимофей Шерудило

Время сумерек II

<https://litres.ru/74355107>

SelfPub; 2026

Аннотация

Продолжение сборника «Время сумерек». Предметы этих очерков разные: романтизм, роль языка в создании культуры, отказ современной России от Европы.

Содержание

I	28
II	30
III	33
I	36
V	39
VI	43
I	53
Конец ознакомительного фрагмента.	54

Тимофей Шерудило

Время сумерек II

I

. Священный язык

Дж. Орвелл говорит в своем знаменитом романе: когда у каждого слова останется только одно значение, мышление в известных нам формах перестанет существовать. Мы наблюдаем исполнение этого предсказания, вернее, находимся уже по другую сторону водораздела между мыслью и ее отсутствием. Исчезновение мысли напрямую связано с истощением и обмелением выразительной способности языка. Язык — самая божественная вещь после нашего разума, и ослабление языка означает ослабление всего человеческого.

Переворот 17-го года и последующие несчастья в России показали, насколько мышление связано с языком, его формами и выразительными средствами. Больше того, сейчас, на расстоянии, видно, что крушение русской речи предшествовало опустошению культуры, превращению ее сначала в нечто служебное (при «новом порядке»), а затем в нечто сугубо развлекательное, обращенное к самому бедному и простому в человеке.

И другое видно на расстоянии. Язык не только имеет формо- и смыслообразующее значение; он в своем роде священен, как ценность, создаваемая поколениями и поколения

воспитывающая. Конечно, эта двоякая роль свойственна не языку во всем его объеме, а только известной его части, ядру, которое я бы назвал священным языком или священной речью. Смысл существования этого ядра — не просто «выражение мыслей», но накопление средств для выражения внутренней жизни человека. Это самое сложное, но и самое вознаграждающее из применений языка.

1. Священная речь

Я говорю священный, но основной характеристикой этого языка является не сакральность, а мощь. Всякий жаргон идет по пути удаления от священного языка в сторону большей плоскости, недостаточности средств и прямой бедности. *Lingua sacra* дает мысли мощь, жаргон мысль обессиливает.

Священный язык, в котором слова обладают множеством смыслов, внутренне связаны, многослойны, существуют вне времени — противостоит языку газет и науки, языку полуобразованности, где у каждого слова или только одно значение, или, напротив, смысл слова вовсе неясен, так что оно употребляется наугад. Священный язык и точен, и многослоен одновременно; на нем создана поэзия, он же питает художественную литературу и мысль. Он выработан духовной жизнью поколений — в противоположность плоду многолетнего упрощения, «плоскому языку» школы и газет.

Разница между священным и плоским языками — разница между двумя типами мышления. Не владеющий *lingua sacra* не просто не понимает слов: он не может проследить за

мыслью, не слышит обертонов и отражений. Значительную часть силы священного языка составляет самопознание; не зря это язык Писания и поэзии. Кто не думал над собой, не слышал своей души, не всматривался внутрь, хотя б немного, не понимает и этого языка. Из сказанного не следует, будто староанглийский или славянский дают особую силу уму: совсем нет. Но в языке культуры, многослойном по определению, они составляют один из слоев, причем один из самых глубоких.¹ Самопознания на жаргоне, как я уже говорил, не бывает.

Священный язык многослоен, это сгущенная сумма выразительных средств за несколько столетий; жаргон плоский, всегда новый, всегда сегодня. Новизна и плоскость соседствуют в нем.

Поэзия как таковая еще не *lingua sacra*. Однако она всегда порыв в правильном направлении, т. к. питается желанием силами однозначного мирского языка выразить невыразимое, то целое, которое больше суммы частей, в конечном итоге — Бога. Жаргон неслучайно связан с безбожием, т. к. никакому охватывающему единству, сверх-единству, нет места там, где за словом стоит или одно-единственное понятие, или ни одного. Поэзия делает плоский язык пространственным, охватным, расширяя объем могущих быть переданными

¹ У нас в России отталкивание от традиционной орфографии, т. е. от верности преданию в языке, неотделимо от приверженности плоской речи, а то и прямо жаргону.

ми мыслей — на высотах своих, конечно; а выработанная, глубокая проза идет в этом отношении еще дальше поэзии.

Lingua sacra всегда присутствует в языке, хотя доля ее непостоянна. В эпохи ненарушенного наследования она сильнее; во времена разрушения — почти исчезает, как теперь.

Плоский язык знает только две цели: побуждение к действию или изложение фактов. Там, где священная речь побуждает к мысли или передает чувство, словом, приобщает читателя к духовной жизни автора — плоская речь немотствует. В плоской речи никакая окраска написанного в тона внутренней жизни писателя, будь то грусть, или радость, или скепсис — невозможна. Слова вколачиваются, как гвозди. Смысл (если он есть) передается словами, а не тем, что меж них. Настоящее же искусство прозы есть именно искусство передачи смысла помимо собственно слов. Целое больше суммы своих частей. Однако смысл писанного слова не в одной передаче фактов. Конечно, есть и писанные слова, предназначенные только для этого. Однако в главном своем назначении литература есть продолжение человеческого духа во времени. С этой задачей плоская речь не справляется, даже не пытается ее ставить.

Истинная литература, та самая, которая вырабатывает священную речь, всегда относится к области *scripta manent*. Здесь не без бессмертия души, пусть и малого, опосредованного, через книги. «Душа въ завѣтной лирѣ мой прахъ пере-

живетъ» — говорил Пушкин именно об этом. Душа со временем уходит за край мира, а в мире остается не в чем ином, как в сказанных с достаточной силой словах. Царство плоского языка лишает целые поколения этого малого и опосредованного посмертия...

Выражение *le style c'est l'homme*² непригодно для плоского языка: в нем нет человека. Устранение человека из языка и есть тот процесс, каким создается плоская речь. Процесс этот при «новом порядке» шел двумя путями: во-первых, через упрощение и уплощение личности, во-вторых, через безжалостную редакторскую правку всего, что проходило через созданную «новым порядком» цензуру. Безликость, бессилие, бледность письма суть ныне признаки «научности», «литературности»... Конечно, я говорю о литературе, притягивающей на какую-то важность. Развлекательная литература во все времена своего лица не имела, подделываясь под образ мысли и выражения, свойственный ее читателю, маленькому человеку, желающему отдохнуть за книжкой.

Lingua sacra и жаргон (или «глубокая» и «плоская» речь) не просто разные стили. За каждым из них — свой образ мысли. Самый процесс мышления, к ним приводящий, различен. Распространение «плоской речи» на большом пространстве, в течение долгого времени создает, в конце концов, новую нацию на месте старой, название и место жительства которой она разделяет.

² «Стиль это человек».

2. Язык создает нацию

Да, язык, или, что то же, образ мысли, создает нацию. Поскольку сила времени враждебна священной речи и почти прекратила ее развитие, речь идет не о переменах в слоге, а о смене одного способа мышления другим, следовательно, и одного народа — другим, одноименным, но совершенно чуждым прежнему. Возникает новый народ, говорящий и чувствующий на жаргоне.

В старом мире не было резко очерченной пропасти между священным языком и языком повседневным; даже люди неглубокого просвещения были достаточно затронуты сложностью и богатством *lingua sacra*. Плоский язык вошел в силу только при новом порядке и его стараниями. По сути дела, плоская речь создала, на месте прежнего русского народа — новую нацию, неспособную к восприятию сложности и глубины. Разрыв был усугублен обвалом «нового порядка» в 1991-м. Сейчас эту новую нацию, «россиян»³ на месте «русских», можно считать состоявшейся, и мало причин надеяться на то, что она — в лице своего культурного класса — преодолет когда-нибудь плоскость мышления и выражения и вернется к национальным основам. Ведь исчезает не просто способность мыслить — уходит знание и понимание выразительных средств, накопленных веками.

И на жаргоне, конечно, можно выстроить цивилизацию, но в самых своих основах она будет отрицать всякий невы-

³ Воспользуемся любимым словом 1990-х.

разимый остаток в человеке и мире. Кажущиеся ясность и простота будут отличать все ее суждения. Построится культура без самопознания, с одним только знанием вещей.

Плоский язык воспитывает ум, способный только к скитанию в темных закоулках прикладных вопросов: «Достоевский и...», «Лев Толстой как...» Ходить прямым путем, задавать собственные вопросы он не обучен, да это и «ненаучно». Наука — мы должны это сказать твердо — на стороне плоской речи и против речи священной. Для ее узких целей избыточный, богатый, многозначный язык, умеющий определить вещь с разных сторон — не нужен, напротив, ее вполне устраивает правило «одно слово — один смысл».

В царстве плоского языка литература есть «сила служебная», задача которой «в пропаганде», как говорил Добролюбов, или в развлечении масс, добавляет новейшая эпоха. Жизнь духа уничтожается с уходом выражающего дух слова. Лишив человека дара глубокой речи, легко внушить ему материализм. Неудивительно, что люди, сформированные плоской речью, так падки на все мутное, неоформленное, смутное: в словесной мути они видят глубину. Их поражает все неясное в силу отсутствия личного духовного опыта. Если бы этот опыт был у них, они бы знали, что глубина ясна.

Воспитанные плоской речью ищут в чтении совсем иного, чем мы. Для них написанное не ключ к сумме внутренних переживаний и опыта, но готовая к употреблению «истина»,

наставление к действию, нечто такое, что требует не внутреннего труда, а пассивного усвоения и подражания. Если же никакого наставления в прочитанном нет, человек плоской культуры не понимает, на что он потратил время.

Создаваемая плоской речью культура насквозь материалистична не потому, что наука якобы «развеяла мрак невежества», а потому, что невыразимый остаток, то истинно человеческое, которое в то же время и божественное — не поддается даже приблизительной передаче средствами плоской речи. Место укорененной в священном языке религии занимают культы, главной чертой которых можно назвать косноязычие их пророков (Рёрих, Блаватская, Гурджиев). По своему обыкновению, человек плоского мира ищет глубину там, где есть только муть. Плоская культура вполне непромокаема для смысла. В чтении она ищет или развлечение, или руководство к действию. Книга для них или справочник, или учебник, или замена водки, но никогда не питательная среда для ума.

3. Что впереди?

Чтобы преодолеть «плоский язык» и порожаемое им мышление, недостаточно т. н. «просвещения». Напротив, именно школа, то есть усвоение известного объема технических знаний, прочтение одной-двух книг технического характера — и вырабатывает плоскость мышления.

Школа, к сожалению, у нас стоит давно уже на стороне решительного упрощения. До 1917 года эти упростительные

побуждения гасило правительство, и школа, при всех своих упростительных склонностях, все же готовила личность к сложному умственному труду.

Что же касается «знания», как такового, оно не защищает от плоского мышления, хуже того: известного рода знания это мышление производят. Нет ничего хуже мнимого знания о том, «как всё устроено», этого детища новой школы и «научно-популярной литературы». Оно, во-первых, прозрачно (в конце концов, за пределами грамматики и химии у нас больше мнений, чем знаний), во-вторых, учит свысока смотреть на всё человеческое как, будто бы, маловажное в сравнении с «точными науками», в-третьих, дает уму ложное спокойствие, внушая мысль о том, что все важнейшие вопросы давно решены. При помощи этого знания создается мировоззрение техника, благополучного в своем невежестве.

Чтобы вернуть мысли глубину и высоту, нам нужно отказаться от идеала упрощения, общепонятности, от «реального образования» как единственной доступной возможности образования. Спор между «реальным» и «классическим» только оборван «новым порядком», но не закончен. Смысл классического образования в приучении мысли к труду над нетехническими, то есть важнейшими, вопросами — что нам сегодня всего нужнее.

«Реальное» против «классического»

Спор реального и классического образования считается давно решенным; на самом деле он просто прерван революцией, как и многие другие споры. Классическое образование уничтожено в пользу реального — не потому, что реальное было лучше, а потому, что упростить и «уединообразить» мышление с его помощью было проще.

Вспомним доводы М. Н. Каткова, борца за восстановление классического среднего образования в России. Гимназия, согласно Каткову, не место для сообщения детям сведений из всех возможных областей знания. Приобретенное в школе и потеряно будет в школе, как только внимание ученика отвлекут новые предметы, или сразу после нее. Более того, универсальные познания, преподанные прежде умения мыслить, только приучают ум к верхоглядству, к употреблению слов, за которыми не стоит никаких понятий. Понятия же, говорит Катков, вырабатываются только изучением тех предметов, которые заставляют ум работать, а не просто запоминать.

«Прямая и главная цѣль школы <...> есть воспитаніе ума, и сосредоточеніе занятій есть необходимое средство для этой цѣли. Школа отрочества должна хлопотать не о томъ чтобы сообщить своимъ воспитанникамъ побольше разнообразныхъ свѣдѣній, которыхъ сущность неизбѣжно ускользаетъ отъ юныхъ субъектовъ, оставляя имъ на долю только шелуху и хламъ — нѣтъ, ея забота пріучить юныя силы

мало-по-малу, безъ напряженія и надрыва, къ серьёзному и сосредоточенному труду, вызвать всѣ способности необходимыя для полной умственной организаціи, развить ихъ по возможности равномерно, укрѣпить и умножить ихъ, утвердить въ умѣ лучшіе навыки, которые должны стать для него второю природою, поселить въ немъ здоровые инстинкты, ознакомить его со всѣми процессами и приёмами человеческой мысли не на словахъ, а на дѣлѣ, на собственномъ трудѣ, вкоренить въ молодомъ умѣ чувство истины, чувство положительнаго знанія, чувство яснаго понятія, такъ чтобъ онъ во всемъ могъ явственно и живо различать дознанное отъ недознаннаго, понятное отъ непонятнаго, усвоенное отъ неусвоеннаго».

«Умъ воспитанный и окрѣпшій, самъ, безъ помощи учителей, легко приобрѣтетъ всѣ разнообразныя свѣдѣнія, какія ему понадобятся. Поэтому-то въ европейской школѣ, поставляющей свою главную цѣль въ воспитаніи ума, сообщеніе разныхъ, свѣдѣній, полигисторство, есть дѣло второстепенное, на которое отводится лишь столько времени, сколько остается его отъ главнаго дѣла».

Средство приучения к умственному труду Катков видел въ изученіи классическихъ языковъ: древнегреческаго и латыни, и неотделимомъ отъ этого изученія чтеніи древнихъ авторовъ.

Да, катковский силлогизмъ («Въ Европѣ есть классическое образованіе; въ Европѣ цветутъ науки; следовательно, классическое образованіе — основа наукъ») не вполне веренъ. Ско-

рее, то и другое — заслуга прочной культурной основы, унаследованной от языческого мира. В России классическое образование стало еще одной (после петровской государственности) прививкой греко-римской культурной почвы, и исключительно благотворной. «Серебряный век» создан умами, прошедшими катковскую школу, как и общий технический и хозяйственный подъем императорской России в последние ее десятилетия.

И еще одна поправка к катковским взглядам: да, возможна и «наука», не основанная на ясности мышления и выражения, на общеевропейском культурном запасе: та наука, которая создает бомбы и самолеты, то есть техника. Но плодотворную культуру, не только технику, построить на реальном образовании нельзя. Это образование отучает ум задавать вопросы, т. к. все ответы мнутся уже полученными и содержащимися в справочниках.

Устранение классического образования открыло путь полубразованности — т. е., как это точно выражено Катковым, неспособности отличить «дознанное от незданного, понятное от непонятного, усвоенное от неувоенного». Только техника на службе у войны (единственного, о чем «новый порядок» беспокоился по-настоящему глубоко) по видимости не пострадала от всеобщего падения уровня. Но такова природа техники: она не затрагивает глубоко человеческую личность и не требует от нее высокого развития.

Те же отрасли знания, которые занимаются жизнью идей,

упали и вплоть до наших дней не могут подняться. Это неизбежно. Жизнь идей, отвлеченных идей — сложнее для понимания, чем данные прикладных наук, сообщаемые реальным образованием. Идеи надо пережить, прорасти их, с позволения сказать, собственным умом. Их нельзя «выучить». Идея, в отличие от какой-нибудь химической истины, воспитывает — и познается только через воспитание.

Наступила своего рода эпоха «темного рационализма». Разум если не убит, то приведен к молчанию; на его престоле — умственная лень в сочетании с поклонением бессознательному в человеке и бессмысленному в природе. «Душа науки есть доказательство», говорит Катков. О современном темном двойнике науки можно сказать иное: «душа науки есть вера». В забвении теперь сама мысль — не какое-то одно мировоззрение. «Знание» освобождает от необходимости мыслить: основополагающее и важнейшее считается известным. Всё есть в справочниках. В защите сегодня нуждается не какое-то определенное мировоззрение, а способность иметь мировоззрение как таковая.

Победа «реального образования» привела в конце концов к победе «плоского человека». Это не было мгновенным, единовременным событием вроде библейского потопа. Но как и потоп, оно изменило лицо если не земли, то страны. (С обычной оговоркой: все события русского XX века произошли и на Западе, просто там социализм и упрощение действовали меньше насилием и больше — соблазном.)

Что такое эта плоскость? Описать ее признаки нетрудно: непроницаемость для поэзии, всецело основанной на ночной половине души, на переживаемом, но трудновыразимом; полубразованность в сочетании с отсутствием опыта душевной жизни; элементарность средств выражения наряду с элементарностью представлений... Как можно видеть, она проявляется всего сильнее в области человеческого, «гуманитарного», в области жизни идей. Уверен, впрочем, что и в области знания о природе неспособность правильно мыслить принесла огромный вред — прикрытый, правда, отдельными достижениями военной техники (которую при новом порядке было принято называть «наукой»).

За время господства «нового порядка» выросли целые поколения, отученные от умственного одиночества, независимости мнений, следовательно, и от мысли. Разумеется, некая видимость культурной жизни существовала и в самые «плоские» времена. Были писатели, поэты... Однако в русской литературе исчез, изгладился тип мыслящего автора, философа. Мысль стала чем-то далеким, ненужным. Можно что-то «изучать» (заумно, жаргоном, ради ученой степени), но нет никакой необходимости мыслить, ведь и так «все ясно». Для мысли нужна критика существующего порядка; для критики нужен независимый ум — а откуда ему взяться? (Не имею в виду под критикой — вечной нашей «оппозиции» всякому государственному порядку просто потому, что он порядок.)

С каждым десятилетием приобретал все большую силу

тип полуобразованного человека — пока не достиг своего расцвета в наши дни. Мы не раз говорили о полуобразованности, скажем и еще несколько слов. Слишком велико это зло, превращающее в сор все, за что ни возьмется — в противоположность сказанному о еврейском пророке: «если ты извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как уста Господни».

Полуобразованный относится к культуре, как бедняк к чужому сокровищу. Он может ей восхищаться издали, а может и ненавидеть. Последнее встречается чаще. Так спокойнее жить.

Полуобразованный — вечно незрелый. Ему не просто недостает знаний; от него скрыта возможность сложной, глубокой душевной жизни. В области духа он вечный младенец. Здесь для него ничего нет. Какой-то проблеск света он видит только там, где можно словами обсуждать другие слова, т. е. заниматься чем-то таким, что не требует личного духовного опыта. Дух для него только слово. Обращаться к полуобразованному с сочинениями, основанными на опыте душевной жизни, совершенно бесполезно: дети ничего не знают о душе, но только о веселом и скучном, приятном и неприятном. Для этого-то читателя расцвела в России литература «почесывания пяток».

К истинному миру (т. е. тому миру, в котором верят в Бога, стремятся к культурным и историческим целям) полуобразованный человек находится в отношении, позволяющем

этот истинный мир только изучать, не приобщаясь его ценностям.

Приходится признать, что как революция, так и демократия убийственны для души. Если жизнь — процесс постепенного образования, воспитания души, то целые поколения воспитанных революцией и демократией сошли и сойдут в могилу, ничего не узнав о самих себе, затронутые, в лучшем случае, только плоским образованием ума, чтобы не сказать полуобразованностью.

Наше безблагодатное время отличает молчание души при бездеятельном разуме. То, чему дан теперь простор, нельзя назвать ни душой, ни разумом — это инстинкты ума и тела, за которыми нет ни глубокой душевной жизни, ни умственного труда. Труд и удовольствия, и ни минуты на то, чтобы над ними задуматься и их пережить. Мысль и переживание изъяты из обращения.

Угасание прозы, онемение поэзии, смерть философии... Но кроме этих последствий были и другие, так сказать, поражающие изнутри сам процесс просвещения, саму машину передачи и усвоения знаний. Само просвещение оказалось подточено.

Дети хотят «истины», единственной истины, и находят ее. Однако «истин» много. Одна из них в том, что вы должны прежде всего мыслить, потом уже верить. Мысль вознаграждается и вознаграждает. Но именно от мысли целый ряд поколений был отлучен.

Ударение перешло с выработки собственной привычки к мышлению — на усвоение ряда заранее заготовленных познаний. Неожиданным, но неизбежным следствием этого переноса оказалось усиление не знания, но веры. Из того, что можно было помыслить, точно определить, доказать, школьная наука стала чем-то таким, во что — в первую очередь — можно было поверить, а поверив — его запомнить. Новая школа, в отличие от прежней, воспитывала прежде всего веру и память. Вторым следствием оказалась утрата восприимчивости к «доказанному и недоказанному, знаемому и неизвестному», как говорил Катков. Принимаемый на веру учебник с неизбежностью стал святым. На место умозаключений стала вера, для которой все не входящее в круг школьных познаний — «не существует».

Выбор предметов и их освещение в реальной школе предопределили дух этой веры: материализм.

Классическое образование задерживало размножение интеллигенции или, по крайней мере, во всякое интеллигентское поколение вводило известное число людей культурных, т. е. руководствующихся мыслью, а не верой, и притом умственно связанных с предшествующими поколениями. С победой реального образования, во-первых, вера победила мысль, и во-вторых — совершилось окончательное отпадение от культурных корней.

Именно из веры в сочетании с определенным образом подобранными познаниями и рождается школьный материа-

лизм — мировоззрение упрощенных ответов на трудные вопросы. «Реальная» школа внушает его ученику самым подбором и освещением предметов. Материализм в сочетании с идейностью дает «науковерие»: веру в науку — источник истины и в «историю» — чьи суды всегда праведны... Идейность же — неизбежная спутница материалистических убеждений. Материализм при наличии христианского чека на личности и высших интересов обязательно выливается в утопические мечтания, в желание перекройки человечества по новому плану, т. е. в «идейность».

Человек, отказываясь от христианства, отказывается только от богословия, вообще от мысли о Боге, но не от христианских жизненных ценностей. Поэтому материалист, едва он уверился в том, что в мире нет ничего, кроме его собственного разума, отправляется в крестовый поход ради идеи, больше того — ради «абсолютной истины». Мало кто из них приходит к дряблomu скептицизму и терпимости. Мысли, «освободившейся от религиозных предрассудков», терпимость не свойственна. В себе она видит единственно верное мировоззрение.

Европеец христианской чеканки всегда верит, что обладает истиной, будь то мнение Папы, протестантский катехизис или же сочинения Маркса (или Фрейда, или — подставьте нужное). Низвергнув идею Бога, материалист тут же находит абсолютную истину, которую надо проповедать до края земли, т. е. становится науковерующим. Он знает все точно и бе-

режет свой скепсис только для чуждых ему идей. Собственно говоря, состояние человека, который «знает все точно», и есть вера.

Но разве не естествен материализм для «просвещенного» человека? Нет, не естествен. Не зря он идет рука об руку с изъятиями в просвещении. Мировая тайна невыносима для среднего состояния ума — между невежеством и просвещенностью. «Как может быть в мире нечто, мне непонятное?» Гордость не терпит мысли о мировой тайне.

Надо еще и об этом сказать: мы восприимчивы только к тем доводам, которые соответствуют нашему душевному состоянию. Материалистическая картина мира, как и любая другая, избирается не «свободно», а в соответствии с внутренним самочувствием избирающего. Богооставленность, отчаяние прикрываются «свободным рассудочным выбором».

А науковерие, с его выводами относительно человека и мира — последняя ступень богооставленности. Выводы ума, находящегося в глубокой, неисцелимой тоске, при этом отрицающего всякое влияние как исторических, так и психологических обстоятельств на свои заключения, т. е. приписывающего себе безусловное совершенство. Критическое отношение, понимание места истории и психологии в людских суждениях — этот ум сам к себе не применяет. На знамени этого мировоззрения написано: «разум», однако рациональные приемы применяются им только к дальнему и внешнему.

Да и правду сказать, основания для радостно-рационалистического мировоззрения, о котором с таким пафосом писал Белинский («теперь положительные, разумные ценности!») — ныне утрачены. Разум потерял кредит после в высшей степени «рационального» устройства жизни двумя социализмами, национальным и классовым. Однако и христианство, в силу тех же событий, потеряло почву, т. к. христианство есть рационализм в религии. (Христианство есть составное целое, конечно. Пласт рационализма в нем соседствует с пластом жажды чудесного и с чистой романтической внутренней жизни души, о которой говорит Евангелие.) Больше того: все ссылки на «разум вообще» нам следует отводить, потому что никто не знает иного разума, кроме своего; и своего-то большинство не знает...

Относительно расхожего довода: «наука изучила природу, нашла ее весьма несложной и вполне объяснила» — нужно сделать небольшое отступление.

Нужно различать «мироздание» и «природу». Природа — часть мироздания видимая и поддающаяся изучению. Человек так устроен, что и в природе, и в мироздании видит прежде всего себя и свое общество. Если Империя поклоняется Вседержителю, то время «демократии» и раздробленности поклоняется безличным силам, во взаимной вражде бессознательно созидаящим все более сложные единства — вплоть до ума ученого-атеиста. Сила ума не в творчестве, а в уподоблениях. Он рисует себе образ мира, глядя на обще-

ство, в которое он поставлен. Следовательно, нет никакого «объективного знания». Есть только поиск численных закономерностей, к которым подгоняются более или менее смелые предположения.

Да и так ли все ли хорошо с материалистическим объяснением мира? Власть над природой (краткосрочную) оно дает; а вот что касается человека и общества, то человек, объясняемый материально, превращается в деревянную куклу и чем дальше, тем меньше пригоден для общественной жизни. Лишенное религии общество постепенно распадается. Что же до власти над природой, ее пределы уже видны.

Поскольку мы не поклоняемся «истории», нам не обязательно принимать любые ее приговоры: мы знаем, насколько они бывают злы и несправедливы. Так обстоит дело и со спором «реального» и «классического». Нельзя дважды войти в одну реку, т. е. возродить классическое образование в том его виде, каким мы обязаны Каткову. Однако его идею: мысль прежде познаний — мы можем и должны восстановить.

Если величественное для нашего взгляда здание романовской культуры и невелико с точки зрения европейца, а густота культурной ткани в старой России ничтожно мала в сравнении с западной — эта ткань все равно превосходит всякую вытканную при «новом порядке» материю, поскольку речь идет о высших формах умственной деятельности. Следовательно, восстанавливать — в нашем случае означает двигать-

ся вперед.

«Классицизм» безусловно прав в том, что воспитывает ум, заставляя его трудиться над словом. Смысл письменной речи — в выражении и поощрении сложной умственной деятельности. Самое общее определение культуры есть: средства выражения и воспитания. То, что разрушители считали ненужным хламом — не просто одеяния духа, но его орудия и воспитатели.

Воспитывая способную к пониманию и выражению сложных идей личность, мы воспитываем личность уединенную. Чудо воспитания — только там, где личность становится в стороне от толпы. Иначе мы выращиваем только нового члена стаи, в частности, убиваем в человеке способность задаваться вопросами. Толпа есть сообщество имеющих ответы на все вопросы, каковы бы эти ответы ни были. В умении и желании быть одиноким на своих путях человек только и вырастает.

Воспитателям «коллективизма», простейшим образом выражаемого словами «ты что, умнее всех? тебе что, больше всех надо?», можно напомнить превосходные слова Густава Майринка:

«„Самоотречением“ называют они этот фосфорический свет, с помощью которого им удастся перехитрить свою жертву. Весь ад ликует, когда они зажигают этим светом всякого доверившегося им человека. То, что они хотят разрушить, — это высшее благо, которого может достигнуть су-

щество: вечное осознание себя как Личности. То, чему они учат, — это уничтожение».

Человека придется уединить, вырвать из стада. Только тогда вернется к нему владение мыслью. Легкость глубокой мысли, ее подземные, но вместе с тем и невесомые корни — пущенные в ночную область души, в не-фрейдово «бессознательное», все это неизвестно тяжелодушным временам, умеющим только словами обсуждать другие слова. Пора бы, кстати, освободить бессознательное от лежащей на нем тяжелой печати фрейдизма. Творчество, бесспорно, коренится в подземной жизни души, в ее легком потоке, текущем совсем не из источника обид и унижений, несущем совсем не горькие воды. Душевная жизнь есть свет; подавленность и тоска — признаки не душевной жизни как таковой, а отъединенности от нее, печального одиночества разума, оторванного от своей души. Личность состоит из разумной и мелодической частей; жизнь души — мелодия, без которой «жернова разума перемалывают пустоту».

Не будем задаваться вопросом о возможности такого переворота. Если мир в государстве будет достаточно длительным; если социализм в любых его видах не вернется; если возобновится естественное развитие, т. е. развитие в сторону большей сложности; словом, если Россия снова окажется на подъеме — всё возможно.

Развитие личности и нации — борьба за самовоплощение. Всякое творчество от избытка. Творец чувствует избы-

ток возможностей, которые надо закрепить в бытии; так же обстоит дело с рождением нации. Из области возможного, но не воплощенного, вырывается новая сила и спешит закрепиться в мире. Иногда она достигает пусть и временного, но подъема или даже расцвета.

Безусловно, в жизни народов и личностей греческое «ἀκμή» (акме) не просто «расцвет сил». Более точно будет сказать, что это сочетание полноты сил с широтой возможностей, развития и судьбы, т. е. внешних, неподвластных личности обстоятельств. (Расцвет Американских Штатов в середине XX века и постепенное падение потом; первое русское цветение времен Екатерины и Александра I; второе русское цветение при Николае II). «Развитие» и его успехи суть наполовину, по меньшей мере — плоды внешних обстоятельств, т. е. судьбы. Вокруг всякого островка развития «хаось мстительный не спит», говоря словами гр. А. К. Толстого.

Надо трудиться, а обстоятельства или помогут нашему делу, или его погубят.

III

. О романтизме

I

Мало кто может сказать точно, что такое «романтизм» и «романтическое». Последнее слово совсем смутное. Есть «романтические темы». Есть «романтические обстоятельства». Есть объяснения романтизма как нового религиозного мироощущения. Однако трудно дать общее определение «романтического». Это неудивительно, потому что романтизм — не тема, обстоятельства или религия. Романтизм есть культ вдохновенного творчества, его сущность — огонь, а не блюда, которые на этом огне готовят. В отблесках этого огня можно разглядеть, какие предметы он освещает ярче всего: это его темы. В каких условиях он охотнее всего вспыхивает: это его обстоятельства. Какое мироощущение его сильнее всего питает: это его религиозный смысл. Чтобы говорить о романтизме, надо смотреть на него изнутри, от его центра, то есть от вдохновения.

«Романтизмъ, — говорит словарь Брокгауза, — можно понимать съ одной стороны какъ извѣстное поэтическое настроеніе, а съ другой — какъ историческое явленіе, характерно выразившееся въ европейской литературѣ первой половины XIX стол. Сущность романтическаго настроенія выясняется Бѣлинскимъ въ его статьяхъ о Пушкинѣ. „Въ тѣснѣйшемъ и существеннѣйшемъ своемъ значеніи, — говоритъ Бѣлинскій, — Р. есть ничто иное, какъ внутренній міръ

души челоѡѡка, сокровенная жизнь его сердца. Въ груди и сердцѡ челоѡѡка заключается таинственный источникъ Р.: чувство, любовь есть проявленіе или дѡйствіе Р., и потому почти всякій челоѡѡкъ — романтикъ“».

Определение Белинского может быть и недурно, но слишком смутно. Романтизм несомненно находится в связи с «внутреннимъ міромъ души челоѡѡка», но в то же время есть нечто большее, чем просто «жизнь чувства».

Романтизм, — скажем, прежде чем перейти к подробностям, — есть не просто «чувство», но одна из возможных философій творчества. Основное положеніе этой философіи в том, что творчество «от ума» — малоценно или служебно в сравненіи с творчеством, смысла и назначенія котораго сам творец, начиная труд, может не понимать ясно. Умышленность, планомерное построение — противопоставляются произвольности, неожиданности, естественному произрастанію мысли.

II

Чем больше смотришь на романтизм, тем менее определенны его пределы. В конце концов все оплодотворяющие веяния в культуре XIX века кажутся веяниями романтическими. Может быть, этот взгляд и неложен.

Романтизм дал современности все или почти все ее умственное вооружение.

Излюбленное современностью «бессознательное» открыто романтиками. Фрейдизм, однако, не наследник романтизма, потому что во всякой глубине (в том числе подсознательной) романтизм находил сложное, тогда как Фрейд в глубине находит только обрывки и клочки.

Пресловутое «историческое мышление» также есть плод романтизма. С одним уточнением: если романтизм увидел во всех вещах Развитие вместо неподвижного Бытия, то моральную ценность приписал всякой появляющейся в качестве итога развития новизне — только Гегель.

Трудность определения романтизма и романтического, из-за которой словарь Брокгауза ограничился расплывчатым и сентиментальным мнением Белинского, вызвана еще и тем, что романтизм есть алфавит, а не сообщение. Романтический метод можно наполнить любым содержанием. Вера в то, что человек и мир суть итоги органического роста не сознающих себя единств — вполне романтическая по про-

исхождению, хотя в ней и нет ничего от огненного, самосознающего откровения личного творчества, каким было мировоззрение настоящих романтиков. С этой верой в несознающие себя единства, бессознательно порождающие жизнь, разум, душевную жизнь — романтизм дал современности, пожалуй, самое опасное и умственно вредное оружие. Вредное и опасное потому что позволяет закрыть глаза на всякое личное начало, на причины и цели, ограничиваясь констатацией «вечного развития» как, будто бы, свойства этих бессознательных единств. Романтизм — ни много, ни мало — дал науке религию, которую она исповедует до сих пор.

Одни романтики прославляли культуру и сложность внутренней жизни. Другие тяготели к народничеству и опрощению. Почему так? Потому что с точки зрения романтической совершенно безразлично, наслаждаться ли своей душой в простоте, «дивясь божественнымъ природы красотамъ», или в сложности, изоцряя свой ум. Ударение здесь стоит именно на наслаждении, получаемом от общения со своей душой. По моему мнению, наслаждение от сложности больше. Но это вопрос вкуса.

О наслаждении собственной душой говорит Сенанкур в *Обермане* (1804):

«Сердцу глубоко чувствующему свойственно черпать куда большее наслаждение в самом себе, нежели в удовольствиях, доставляемых внешними причинами».

Романтизм весь о внутреннем человеке. О внутреннем че-

ловеке и Евангелие — насквозь романтическое в определенном смысле, о чем мы будем говорить ниже.

Романтизм — образ чувства или чувствования, как бывает образ мысли. При одинаковом образе чувствования у разных романтизмов может быть разное содержание.

Романтику нужно быть в общении с природой или с собственным внутренним огнем, т. к. ключевое слово романтизма — укорененность, причастность более чему-то более глубокому и первоначальному, нежели разум с его играми. Разумеется, как сказано выше, эту укорененность можно найти и в, скажем, национальной культурной почве.

Пожалуй, Пушкин — единственный из русских современников романтического движения, который мог его прочувствовать, не только поверхностно ему подражать. И может быть даже, в немъ и было больше романтизма — как откровения самородного творчества, — чем въ Баратынском и Лермонтове. Романтизм есть эротика душевной жизни; зачарованность внутренним; ум созерцающий и чувствующий одновременно. Я бы сказал, что все это было в Пушкине.

III

Романтики, как это ни странно звучит, открыли европейцу его душу. Каждый, проходящий путем открытия собственной души, проходит путем романтизма.

Тут я должен исправить собственное заблуждение. Я думал, что любовное внимание литературы XIX века к личности — было явлением христианским. Однако рассмотрев подробнее романтизм и его влияния, начинаю думать, что сам по себе христианский мир не был столь внимателен к личности. Эта внимательность была одним из следствий переворота, произведенного романтиками. Переворот этот, вкратце, выразился в переходе от старинной формулы: «литература назидает и воспитывает» — к формуле новой: «литература наиболее полным образом выражает личность».

Романтическое начало — лично-творческое. Внимание к внутреннему человеку — не коренная христианская черта в XIX веке, а черта романтическая, исходно, быть может — неоплатоническая (через непрямые влияния). Европейский христианин прежних веков, до XIX столетия, не так уж любил задумываться о своей внутренней жизни. Век пара оказался, волей случая, еще и веком души.

Первый вопрос романтизма — вопрос о творчестве, или по внутренней связи — о творящей душе. Романтик стоит лицом к лицу со своим внутренним откровением. Видя сия-

ющий источник творчества в своей душе, он понимает творчество и душу религиозно.

Романтизм всегда не без мистики — приобщения к чему-то большему. Эта мистика может быть мистикой вдохновения (самый частый случай), мистикой государства и национальности.

Романтик всегда находится в присутствии своего рода Высшего Существа: собственной души. Внешнее и довольно случайное «я» уравнивается у романтика его скрытой, загадочной внутренней половиной, знающей тайны. Романтизм есть именно общение с этой половиной.

Романтизм есть иероглиф, указывающий внутрь, причем с переменным значением. Заимствовав слово из алгоритмических языков, его можно назвать указателем на нечто, вне его находящееся. О чем он? Весь о вдохновении. Иначе говоря, романтизм есть откровение внутреннего мира. Романтическое мироощущение противоположно тому, что один писатель (Ч. Блэки) называл externalism-ом, т. е. убежденности в том, что все дурное и все хорошее находятся вне человека, душа же его — только пустоеместилище, ожидающее наполнения. Романтик всегда обращен к своему центру. Жизнь романтика есть роман с собственной душой.

Далее надо сказать, что романтик не воюет с мыслью и последовательностью. Романтизм не означает беспорядка и бессмыслицы. Он, однако, выбирает ту мысль и ту последовательность, которые, не подчиняясь никакой извне навяз-

занной системе, вырастают или проистекают естественно из скрытого подземного русла.

Эта обращенность к центру и есть то «наклонение души», по которому распознаётся романтизм. При одном и том же «наклонении» содержание ума может быть разным. «Из сокровища сердца своего» каждый выносит свое.

Романтик влюблен в свою душу и назначает ей свидания на чистом листе бумаги.. Романтизм эротичен, или нет его. Как следствие, нельзя быть романтиком, не ощущая в себе глубокой душевной жизни (но может быть романтизм напускной; таким поддельным романтиком, под влиянием своей Натальи, был Герцен). Иначе говоря, «романтическое» мироощущение обусловлено определенным психологическим складом, определенной разновидностью «творческого акта», как сказал бы Ив. Ильин. Люди, знающие только рассудочное творчество, должны видеть в «романтическом» одно фиглярство.

Романтизм чувствует тайну позади вещей. Его состояние — очарованность; для очарованности нужны чары. Простая восторженность, как, скажем, у Брэдбери в «Вине из одуванчиков», еще не дает романтики, если за воспринимаемым миром ничего не стоит. Брэдбери подделывает романтику; на самом деле он просто восторженный рационалист, для которого по ту сторону мира ничего нет.

I

V

Личность не владеет своим творчеством; напротив, творческий дар владеет личностью. Эту своего рода «одержимость» нельзя подделать. Романтик пишет произвольно — хотя конечно же, произвольно пишет и дурак, и первое следует отличать от второго. Вторая произвольность — произвольность труда и усилий, т. е. внутреннего труда и усилий мысли. Полки пишущих «темно и вяло», как говорил Пушкин о Ленском — свидетельство того, что откровение самозаконного творчества дается не всем, с ним надо родиться, его надо воспитать, для большинства же доступно только подражание внешним формам, принимаемым плодами вдохновения.

Кто пишет по вдохновению — следует потоку мысли. Представление об «органическом» развитии, вырастании творчества из подпочвенной основы естественно для того, кому известно вдохновение.

Вдохновение есть «дар», который можно только принять, а источник его вне нашей власти. Однако есть чисто технические способы приблизиться к этому источнику. Демона вдохновения можно приманивать. Безупречный способ его приманить — собеседование с чистым листом бумаги. У белого листа бумаги есть способность вызывания мыслей, как

бывает способность вызывать духов. Г. А. Барабтарло убедительно говорит о преимуществах писания от руки:

«Всякій настоящій писатель знаетъ, или по крайней мѣрѣ чувствуетъ, тончайшую, но ненарушимую связь между образомъ выраженія (въ его высшихъ формахъ) и правой рукой съ писчимъ инструментомъ въ трехъ пальцахъ. Первоначальна только рукопись, а никакъ не машинопись. Строго говоря, ни одинъ шедевръ ни въ прозѣ, ни тѣмъ болѣе поэтическій, не былъ и не можетъ въ принципѣ быть написанъ иначе какъ десницею. На ремингтонахъ и макинтошахъ можно сочинять или «писать» всякую всячину (не говорю тутъ о перепечатываніи перебѣленной рукописи, это дѣло обычное), что и дѣлается сплошь, но такимъ опосредованнымъ способомъ ничего нельзя создать въ высшихъ художественныхъ разрядахъ: ручная работа отличается отъ машинной».

Возможно, он прав, и сочетание руки и бумаги в самом деле формообразующее, не просто случайное. Пишущий своей рукой не просто «выражает мнения», но мыслит этой рукой, если так можно сказать, водит пером, пока мысль стекает по его правой руке на бумагу.

У вдохновения есть свои «фазы», ступени. Прежде мысли приходит смутное волнение, не сама мысль, а ощущение ее возможности. Еще более ранняя ступень — холодок плодотворного одиночества. Третья ступень — собственно излияние мысли на бумагу. На некоторые из этих ступеней можно взойти по желанию.

Как и любовь, вдохновение нельзя испытать по желанию.
Как и любви, вдохновения можно искать.

V

Но вернемся к описанию романтизма. Связан ли он с религией? И да, и нет.

Что душестремительно, то наверняка будет религиозно. Чем глубже мы погружаемся в себя, тем больше смысла находим, а религия есть именно вера в осмысленность жизни. Романтизм, однако, не связан непосредственно с какой бы то ни было религией.

Романтизм неотделим от веры в осмысленность жизни. Мир для романтика — обещание и пролог к чему-то совсем другому. Вера романтиков не есть собственно пантеизм («Мир = Бог»), как говорят некоторые. Это вера в то, что мир есть осмысленное целое.

Романтизм — не просто реакция против слепого рационализма, это еще и ответ глубокой и творящей души на кризис христианства. Мыслящий человек, начиная с конца XVIII века, не может быть «просто христианином», не сталкиваясь с непреодолимыми противоречиями, и на пути веры и творчества становится романтиком.

(Кстати: такой же попыткой продолжить религиозную жизнь там, где закрыты или кажутся закрытыми прежние религиозные пути, было у нас масонство, а с ним и новиковский пиетизм. О том, что пиетизм, движение умное и серьезное, чуть ли не единственное положительное движение, взя-

тое нами с Запада, угас в России в своем зародыше — можно только пожалеть.)

Можно даже сказать, что христианство при закате своем распадалось на романтизм и социализм — два взаимоисключающих начала, одно из которых видит источник всех ценностей внутри человека, другое же — снаружи.⁴

Надо сказать, что на заре христианства его границы также соприкасались с границами романтического царства. Поскольку Евангелие душестремительно, постольку оно романлично. «Царство небесное внутрь васъ есть» — старейший романтический манифест.

Романтическая составляющая христианства — не последняя из причин его успеха. Наравне с несомненным культом старости (вплоть до представления о Божестве как «Ветхому Дням») в христианстве был родник молодых, юношеских представлений. Новый Завет в немалой степени есть сборник романтической поэзии. Не будь этого — не откли-

⁴ Господством морального отношения к вещам социализм напоминает христианство, посюсторонними ценностями от него отличается. Формы его могут быть разнообразны. «Избранный народ» находят в угнетенном классе, в обиженной нации или даже, как я не раз говорил, в преследуемых людях «третьего пола». Важнее всего здесь страдательное положение «избранных». Моралистическое мировоззрение сосредотачивается на преследуемых, извращенным образом толкуя евангельское: «блаженны изгнанные за правду». «Правда» отбрасывается, как маловажное обстоятельство; основанием святости делается именно изгнанность, преследование. Социализм, в некотором роде, есть невнимательно прочитанное христианство — или же христианство, прочитанное левым поклонником Гегеля, можно сказать и так.

кались бы на его призыв юноши и девы. Но это не та поэзия, на которой можно было основать Церковь. Культ старости, иерархии, мысль о Боге как небесном Кесаре — все это более уместно для Церкви, чем светло-поэтические слова Евангелия о нежной, обретаемой и теряемой, вечно зовущей к себе душе. Церковное же христианство — религия Царства. Его мироздание упорядоченно и управляется премудрым Царем. Монархизм здесь внутренний, не от желания понравиться земной власти. (Потому и «демократическое христианство» выглядит бледно: у него нет внутренних оснований.)

У богатой, плодотворной, на тысячу лет вперед творившей греко-римской культуры была своя пора слабости и бедности, в эту пору ее и подстерегло христианство. Его приход не был случайным затмением языческого солнца; как и настоящее затмение, оно было исторически обосновано. Им древний мир расплачивался за века бесплодного рационализма, на котором одном невозможно основать жизнь. Пришла романтическая реакция: христианство. Конечно, по закону акции и реакции оно не просто дополнило разум — интуицией, но упразднило его, и надолго.

Ветхий Завет, «отмененный» Новым, также был рационален и материалистичен. Когда Запад впервые услышал об иудаизме, он понял его как философскую секту. Неслучайно реформация, как путь к атеизму, вдохновлялась именно Ветхим Заветом. Насколько можно судить, старая религия евреев, прежде чем попасть в Пятикнижие (не столь древнее, ка-

ким оно хотело бы казаться) испытала своего рода «очищение» в реформатском духе, ослабившее ее теплоту. Там, где были святилища Иеговы и его Ашеры, и священные рощи, и храмы малых богов — осталось учение сухое и нетерпимое.

VI

«Реакция» на легковесном жаргоне нашего времени — синоним мракобесия. По истинному значению слова реакция есть противодействие; противодействие, которым наказывается всякая сильная, ожесточенная односторонность. Способность к реакции — признак здоровья эпохи. Наше время неспособно к реакции, оно болезненно-терпимо к любым односторонностям, говоря его же словами — «толерантно». Толерантность есть неспособность к противодействию.

Культурная и общественная жизнь — всегда чередование акции и реакции. Всякая односторонность наказывается отходом маятника на противоположную сторону. Дряблое сохранение культурой или обществом той формы, какая им была придана, говорит о неспособности к реакции, т. е. потере упругости. Романтизм начала XIX столетия — распрямление ума и чувства после плоско-рационального гнета, сродни русскому «распрямлению» 1890-х и дальнейших годов после народничества и утилитаризма. Возможно, нечто подобное можно сказать и о евангельском романтизме. Религия Ветхого Завета вполне утилитарна, если не прямо материалистична: «Соблюдай уставы и будешь награжден богатством, скотом и потомством».

Романтизм — одушевление мира, обезбоженного материализмом. И чем свирепее и суше, если так можно ска-

зять, был местный рационализм, тем последовательнее и ярче вспыхивал огонь романтизма. Самый сухой хворост был собран, конечно, усилиями немецкой Реформации...

Из того, что романтизм есть реакция на рационалистическое засилье, следует любопытный вывод. Россия не знала этого засилья прежде 1860 — 1890 годов, следовательно, и почва для настоящего, а не подражательного романтизма не была подготовлена раньше окончания этого времени. И тогда пришел «Серебряный Век». Последний русский культурный подъем, совпавший примерно с царствованием Николая II, был по существу романтическим, реакцией на материалистическое засилье. На этом романтическом подъеме Россия и ушла под снег.

Романтики открыли европейцу его душу. XX век — ущерб, затмение романтизма с последующим обездушиванием человека. Разумеется, не в объективном смысле (нельзя лишить человека души по желанию «партии»), но в смысле сознательных переживаний душевной деятельности. Эта область была полностью угашена, скрыта от взгляда, и сейчас, в начале XXI века, числится несуществующей (за исключением чисто медицинских явлений). У современного человека есть «неврозы» и «психозы», но нет развитой и глубокой душевной жизни.

XX век стал веком контр-романтической реакции на Востоке (в России) и вялого разложения романтического мышления на Западе. В России произошло возвращение к мо-

рализаторско-рациональному мировоззрению XVIII столетия («религия есть сознательный обман», «смысл искусства в воспитании нравственности»). На Западе было иначе. С одной стороны, фрейдизм доедал остатки с романтического стола (власть бессознательного; внутреннее, подпольное, не сознающее себя развитие). С другое — вырабатывалось адамантово-твердое, не признающее уклонений «единственно-верное мировоззрение», выступающее от имени науки. Впрочем, ранний российский «новый порядок» заимствовал на Западе или сам создал такое же мировоззрение с теми же притязаниями на истинность — по меньшей мере, в научной среде, где оно жило и воспроизводилось независимо от «единственно-верного» и «всемогущего» учения партии.

Одни и те же явления, однако, могут вызвать совершенно разную реакцию. Господство своего рода «классицизма» в советской России не пробудило себе на смену ничего подобного романтизму. Напротив. От «дело поэта — воспитывать и учить» произошел переход к «дело поэта — развлекать и развращать». По-видимому, для центростремительной романтической реакции нужна личность, а ее-то и не нашлось.

Романтизм — ответ души на механическое мировоззрение. Чтобы был этот ответ, поэт должен сознавать себя, жить душевной жизнью, вообще говоря — не быть циником. Личность пустая, способная только похихикивать и пересмеивать, для этого не годится. Для восстания в пользу души ну-

жен опыт душевной жизни. Человек, переболевший социализмом, отучен не только от этого словоупотребления, но и от переживаний, за словом стоящих.

V

I

I

Романтизм знает мистику творчества и откровение творящей души. Потому-то его нельзя надеть, как перчатку: смутные ощущения творца «желающий быть» романтиком принимает за печать стиля, и сам пишет смутно («темно и вяло, что романтизмомъ мы зовемъ», как сказал Пушкин).

Романтизм для сильных. Тому, кто не чувствует внутреннего огня — остается только томление, притворство. Чувство присутствия души не подделать, если нет его. Настоящий романтик всегда ощущает это присутствие. «Романтизм» пустой души, без внутреннего огня — дает только надрыв, поиск острых ощущений...

Соблазн, главная подмена романтизма — выдать за вереницу следующих внутреннему развитию, последовательных, взаимосвязанных, не принужденных никакой искусственной «системой», но образующих систему естественную, мыслей — вереницу глупостей, произвольно измышленных «от ума». Романтическое творение, как и рациональное, логично и внутренне-непротиворечиво, но его единство иной («органической») природы, оно вырастает, а не бывает построено.

Романтизм есть в некотором смысле способность прислу-

шиваться — и доверять шепоту. Любовь романтиков к уединенным, особенно т. н. «поэтическим» местам связана не с чем иным, как с тем, что в этих местах внутренний голос слышнее. Извращение романтизма — предпочтение кладбищ и лунных ночей всем прочим местам и временам, взятое как самоцель, в то время как они только удобные условия для внутренней жизни духа. Условие творчества у такого поэта становится содержанием. «Кладбищенский романтик» думает, будто только «элегическое» состояние души романтично, тогда как на самом деле романтично любое осознанное и глубоко пережитое состояние души. Опять-таки: романтизм есть не содержание, а метод.

Романтизм, выцветая, превращается в «романтичность», «романтическое». В этой области определение Белинского можно принять без ограничений. Эта «романтика», от Ал. Грина до Паустовского и до «комсомольской романтики» 1980-х гг. отличалась именно отсутствием внутреннего содержания при известной — тем более милой читателю, что она противостояла казенному советскому бездушию, — неопределенной теплоте чувства. Эта «романтика» была почти неизвестна у нас до 1918 года. Думаю, развитию ее способствовало общее бездушие, сухость и жестокость литературного (да и общекультурного) пейзажа при «новом порядке». Уже в конце 1920-х Братство Светлого Города (типично «молодежное» в советском смысле этого слова, комсомольское даже по своему составу) обращалось к adeptам с таки-

ми словами: ⁵

«Ты, познавший тоску подорожника, — быть на всех путях везде, — при дороге, но никогда не зная, на пути ли ты, — вот голубую звезду василька даю тебе, пусть она ведет тебя.

В голубом сиянии звезды Братства все пути слились в потоке, а в нем бесчисленное множество струй.

Поток один, но берегись противного течения, иди за голубой звездой Братства, она приведет тебя к Светлому Городу.

Ибо голубые звезды васильков цветут на золоте ржаных полей».

Это те красоты без красоты, смутная теплота при отсутствии содержания, которыми будут питаться наши романтики в комсомольском смысле вплоть до самого конца «нового порядка». Потом те же красоты и то же чувство неясной причастности чему-то большему перетекут в игры поклонников «Властелина Колец»...

Раз уж мы вспомнили об этом «чувстве причастности», надо сказать, что и в «романтике», наряду с «весенним волнением сердца», есть и тень содержания: то самое чувство приобщения к чему-то большему, загадочному, о котором сказано выше. Тут можно вспомнить Н. Рязановского, ⁶ который приравнял романтизм к пантеизму — ради его романтического стремления ко всему тайному и поглощающе-ма-

⁵ М. Артемьевъ. Братство Свѣтлаго Города. Возрождение, № 2237, 18 июля 1931.

⁶ Nicholas Riasanovsky. *The Emergence of Romanticism*.

нящему:

«Бог, любовь, поэзия и ночь — один и тот же всеобъемлющий органический синтез»,

«Всеединство», о слиянии с которым, по мнению Рязановского, мечтали романтики. Рязановский преувеличивает, но эта тень влечения к чему-то Большему (которым может быть собственная душа, может быть религия, может быть эротическая любовь, а может быть Родина) падает на весь романтизм.

IV.

Отказ от Европы

. I

Нынешняя Россия, по меньшей мере на словах, готова целиком отвергнуть европейское миропонимание целиком и предложить миру «независимую от европейского влияния» культуру, или (еще лучше) культуру «истинно-европейскую». Если это и слова, то тревожные. Что значит это желание отказа от Европы? Посмотрим на происходящее критически. Кстати, «критик» есть не ругатель, по общепринятому пониманию, но толкователь. Попробуем истолковать то, что видим — без восторга или отвращения. Я писал уже об этом, но и повториться не грех, и времена изменились. Переходная между «новым порядком» и чем-то неизвестным умственная эпоха закончилась. За прошедшие с ее окончания два года выяснились некоторые черты — не скажу «новой эпохи», но нового понимания вещей.

Что же мы видим? В первую очередь — отход от либеральных мнений. Поворот этот захватывает как тех, кто устал от либерального понимания вещей, такому пониманию не поддающихся, так и тех, кто рад вернуться к идеям «нового порядка» — и тех, конечно, кто присоединяется ко всякому модному поветрию, т. к. это выгодно и не требует умственных усилий.

Под прикрытием либеральных мнений Россия в 91-м ринулась в бесформенность. Даже та видимость внешней формы, какую давал большевизм, казалась насилием. В свободе увидели бесформенность, бессмысленность, безначалие.⁷ Случилось это по ряду причин, в том числе благодаря типично русскому пониманию свободы как разврата, в то время как свобода есть самоуправление.⁸ Теперь мы хотим оттолкнуться от этой бесформенности, а вместе с ней — от «либеральных» по названию идей.

Отход от всего либерального сопровождается возрождением евразийства. Очищенное от некоторых крайностей («кибитками Чингисхана», т. е. азиатским наследием, уже не

⁷ Отразилось это на всем, включая архитектуру. Если при новом порядке русские города застраивались «коробками», то при «свободе» их заполнили чудовищные амбары. Градостроительство наилучшим образом отражает дух времени.

⁸ Свобода дает возможность без принуждения применять богатые и разнообразные навыки самодисциплины, приобретенные во времена более суровой государственной власти, причем с большей энергией и отдачей, чем прежде. Но век «свободы» недолог. Она живет, пока живы воспитанные суровой властью навыки воли, труда и самоограничения, а затем переходит в разложение.

клянутся), оно сейчас владеет многими умами. Где евразийство, там отталкивание от Европы, если не прямой отказ от европейского наследия. Такой отказ гораздо легче на словах, чем на деле. Преподавать студентам московского университета китайский вместо английского (а потом отказаться от этого преподавания) проще, чем вытравить из русской культуры ее истинное основание, т. е. европейски понятое просвещение. Но упростить это просвещение, вернуть его к состоянию фабрики, производящей «инженеров и трактористов», вполне возможно. Нисколько не утверждаю, что наше просвещение образца 1990-х и последующих годов было хорошо; совсем напротив. Но «фабрика инженеров» по сути своей ничем не лучше «фабрики биржевых дельцов». То и другое не имеет отношения к развитию личности; разве что инженер получает больше «твердых знаний»; но «твердые знания» личность не развивают. Это доказано историей.

Россия снова захотела порядка, при котором у нее будут «инженера и трактора», но не будет писателей и поэтов, кроме тех, что могут быть полезны инженерам и трактористам в час досуга. В России хотели бы отвернуться от Запада и вернуться к «своей» культуре, не омраченной западными заимствованиями. Однако что это за «своя» культура? Культура старой Руси? Культура петербургской России? Культура «нового порядка» (те самые инженеры и трактористы)?

Однако культура старой Руси ушла безвозвратно, последние ее остатки в деревне развеял «новый порядок». Культура

петровской России — применение европейских умственных форм к отечественной умственной почве, при всей непоследовательности Романовых и романовского просвещения создавшее русского образованного человека, — отброшена революцией как слишком сложная и притом основанная на свободе. Остается культура «нового порядка»: массовое техническое просвещение, не затрагивающее ум и душу, вернее сказать, затрагивающее их настолько неглубоко, насколько это возможно.

I

Плодотворной из этих культур можно назвать только романовско-русскую, которая полнокровно жила еще несколько десятилетий после конца исторической России. О «советской культуре» можно сказать то, что грубо и несправедливо сказал Розанов о русском царстве: она «слиняла в три дня», как только в 1991 году был освобожден типографский станок. Прошедшая «фабрику инженеров» Россия бросилась развлекаться...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.